

Олег Жехаев



Родился в 1955 г. в г. Снежное Донецкой области. Победитель и призёр более тридцати творческих конкурсов в сфере журналистики, кино, телевидения, фотографии и интернет-технологий. Создатель литературно-документального интернет-журнала «Сибирика». Победитель конкурсов «Родная речь», «Живое слово», «За высшее профессиональное мастерство». Лауреат премий: за журналистские расследования им. Артёма Боровика «Честь. Мужество. Мастерство» (дважды), «Лучший журналист Сибири» (дважды). Награждён почётным знаком «За вклад в развитие Отечества», премиями им. В. Короленко, конкурса «Русский Гофман» и др. Удостоен звания «Золотое перо России» и высшей награды Союза журналистов РФ «Честь. Достоинство. Профессионализм». Живёт в Сибири, на берегу таёжной реки Кан.

Возвращение к России

*Разлад писателей Виктора Астафьева
и Валентина Распутина*

Иногда только время позволяет лучше всего понять происходившее. Особенно когда ты знал известных людей, которые дошли до разрыва. А потом, после их ухода, открылись архивные фонды с письмами и документами. И, заглядывая в них, ты будто заглядываешь в человеческие души... Они ведь единственное, что остаётся после нас и не превращается в прах.

Иркутск. 2003 год

К этому времени в живых в Сибири из писателей-классиков остался только Валентин Распутин. Но его голос почти не был слышен. Я приехал в город, где он жил, чтобы встретиться с ним. Узнать о причинах его своеобразного затворничества. Ведь после повести «Пожар» в последующие семнадцать лет он напомнил о своём существовании всего лишь несколькими рассказами.

Но было ещё и другое. Более важное...

Не давал покоя разговор в больнице с Виктором Петровичем Астафьевым. Он уже чувствовал, что жить ему осталось совсем немного. Болезненных тем я с ним старался не затрагивать. Тем более не касался его разлада с Распутиным. Два величайших художника после многих лет душевного единения стали как враги. Различия в общественных позициях образовали в их отношениях непреодолимую пропасть.

Для Астафьева это было наболевшим. Он сам мне поведал о том, что читает Распутина. Скажет: «Мог бы Валя и приехать...» Распутин не приехал. Астафьева вскоре не стало.

Иркутская встреча мне нужна была в первую очередь, чтобы рассказать об этом астафьевском откровении... Как камень с души снять.

Позвонил ему. Попросил выделить время для общения. «О чём разговаривать?! Зачем?! Кому это сейчас нужно! – категорично звучал из телефонной трубки голос Распутина. – Я больше двадцати лет занимался публицистикой. Сколько сил потратил на защиту Байкала! Ничего не изменилось. И вообще мне некогда. Послезавтра уезжаю на родину».

С большим трудом, но мы всё же договорились встретиться на следующий день, правда с его неизменным условием: «Не больше пятнадцати минут на весь разговор».

Нежданно выпавшее свободное время я потратил на прогулки по старому Иркутску и беседы с горожанами о Распутине. Из двадцати человек четырнадцать знали, о ком идёт речь. Больше того – ни от одного из них я не услышал дурного слова о Распутине. Не помогло и обострение разговоров напоминанием о его участии в политике. В ответ звучало: «А какое он имеет к этому отношение?» Все просто гордились знаменитым земляком, правда, совсем не зная, чем он сейчас занимается и почему даже в родном Иркутске его появление на людях стало большой редкостью.

Своеобразную черту под нашими разговорами подвёл свободный художник Александр Чегодаев. Посетовав на давний отказ Распутина позировать для портрета, он уверенно заявил: «Даже если он больше ничего не напишет, всё равно войдёт в историю как величайший писатель».

Его “Прощание с Матёрой”, “Последний срок”, “Живи и помни” будут читать долго».

Я понял, что отведённые для беседы нищенские четверть часа мало что дадут в постижении Распутина. Нужно ехать с ним на родину, в далёкий Усть-Удинский район, откуда он пошёл во взрослую жизнь.

Хотелось понять, как этот мальчишка из голытьбы, знавший «яблоки только по картинкам», а далёкий город по случайным рассказам, выбился, как говорили раньше, в люди.

Он был из такой глубинки, что стал первым в своей Аталанке, кто поехал в райцентр за... средним образованием. И пока он страстно постигал учёбу, помогавшая ему мать сгорбилась от таскания воды в казённую баню.

Ему с самого начала было больше уготовано потеряться в той жизни. И никто бы за это не осудил.

Всё это выглядело хорошей прелюдией, но известный иркутский журналист на корню убил все мои надежды, сообщив категоричное: «Он уже лет шестнадцать никого из чужих с собой в такие поездки не берёт. Сколько ни пытались поехать с ним корреспонденты, бесполезно! Так что даже и не надейся. Возьмёт, как всегда, Костю, он у него как друг-биограф, и Машу-телевизионщицу. Всё! Остальным дорога заказана».

К самому себе

Распутин принял меня недоверчиво. Для коренных ангарцев это характерно. Сначала прощупают твои намерения, а потом или найдут мягкий предлог указать на дверь, или одарят хлебосольным гостеприимством. Уж это я хорошо знал. Несколько лет проработал собкором по региону строительства Богучанской ГЭС, которая строилась

тогда в срединной части Ангары. Да ещё и фильм сделал об ангарцах и их уникальном ангарском говоре.

... Беседуем с Распутиным о Сибири. Говорим натужно, а между нами незримо сидит настороженная птица общения. Чувствуется: одно неверное слово, словно хруст ветки под ногой, – и она стремглав бросится в небесную синь открытого окна. Ни диктофон, ни блокнот я так и не решаюсь достать.

Разговор наш происходил в местной писательской организации. Распутин вдруг поднялся и, прощаясь со мной, кому-то невидимому сказал в глубь комнаты, что его долго не будет.

Пугаясь, что упускаю последнюю возможность, чуть было не спрашиваю его об отношениях с Астафьевым. Спыхватываюсь и тараторю как пулемёт вслед ему, уходящему. Говорю, что весной, как Робинзон, забытый загулявшим егерем, жил один и голодал три недели на маленьком острове Ушканьего архипелага посреди Байкала. А потом – это я ему уже рассказываю, спускаясь с ним по лестнице, – обошёл и весь удивительный Большой остров. Сделал это специально, чтобы сравнить его впечатления и свои. Распутину тоже однажды пришлось пожить на этом острове.

Он недоверчиво смотрит на меня, останавливается и спрашивает: «Там же в одном месте трудно по берегу пройти?»

И, радостно соглашаясь с ним, рассказываю и про это место, и про бутылкообразные листовенницы, и белоснежные мраморные скальные выступы, и чёрные наплывы застывшей магмы, миллион лет назад остуженные ледяной байкальской водой. И о многом другом, что видели совсем немногие. Обычные туристы туда никогда не добираются.

И Распутин мне тоже рассказывает о своих байкальских открытиях. А дальше мы начинаем делиться обоюдными впечатлениями о бывшей сибирской столице чая – Кяхте. Свои размышления о ней он описал в книге «Сибирь, Сибирь...».

Потом мы будем ещё шагать по улице и говорить, говорить... Наконец душевные камертончики сверены.

Утром едем в его родную Усть-Уду.

Запись в блокноте. Полшестого утра. Я, как перст, стою возле театра уже минут двадцать. Через пустынный проспект идёт человек. В руках тяжеленные пакеты. Только потом понимаю, что это Распутин несёт увесистые книги. Свою ношу, как крест, тащит сам. Дальше тоже он никому не будет позволять, даже близкому окружению, подыгрывать его известности. В подъезжающем автобусике сидят оговорённые сопровождающие и маленький фольклорный ансамблик. Это областной отдел культуры отправляет в отдалённый район «культурный десант».

Ломая себя

Не зная, как сложатся наши отношения дальше, прагматично решаю, что вначале, для оправдания командировки, нужно поговорить об обыденном, а потом уже рискнуть спросить Распутина о главном. Благо сидим с ним в автобусе рядышком, а ехать до райцентра часов шесть.

– Валентин Григорьевич, у меня такое чувство, что сейчас вы, как Игренья из вашего «Последнего срока», выезжаете на характере?

– Может быть. Сомнения, по правде говоря, меня посещают часто. Уныние тоже случается. Иногда и безнадежность полная бывает. Но нельзя... Нельзя этому поддаваться. И главное – нельзя своё мрачное настроение высказывать публично. Это же сказывается на других.

– Тяжело вам было пробиваться к признанию из своей родной Аталанки?

– А у меня всё как-то само собой получалось. Школа. Университет. Ещё до его окончания начал работать в иркутской молодёжной газете, где была по-настоящему творческая обстановка. Из одиннадцати журналистов – семь членов Союза писателей. Все писали рассказы – и я писал. Потом – «молодёжка» в Красноярске...

– Вы начинаете мне рассказывать биографию...

– А что вы хотите услышать? – он резко и удивлённо на меня посмотрел и тут же спокойно продолжил: – Ну да, была у меня ломка. После деревни работа в газетах потребовала нивелировки языка. И мне приходилось поддаваться на это. Ломать себя. Но очень скоро я опаматовался и понял, что это не моё. И как только я вернулся к родному языку – мне стало гораздо легче...

До таёжной Усть-Уды мы добрались часов за пять. Именно здесь он заканчивал школу. Об этом периоде у него есть почти документальный рассказ «Уроки французского», по которому был снят хороший одноимённый фильм. Распутин шутит по этому поводу: «Теперь, когда мне хотят сделать приятное, говорят: читали-читали ваши “Уроки...” – и начинают сообщать киношные подробности, которых нет в рассказе».

Поразительно, но его бывшая учительница французского волей судьбы оказалась во Франции. Случайно зашла в парижский книжный магазин, увидела на обложке «В. РАСПУТИН», открыла книгу ради любопытства и тут

же прочитала её на одном дыхании. Спустя десятилетия они встретились в Москве воочию. Вновь увидели друг друга ученик и учительница, которая помогла ему, когда он голодал. Правда, переступая при этом этические нормы. Её уволят. Но только в книге. На самом деле после замужества она просто-напросто уедет из Усть-Уды. А потом тот литературный мальчишка-школяр получит от неизвестного отправителя целую посылку книжных макарон и три яблока. Жизнь же оказалась значительно прозаичнее...

В родную школу Распутин не заглядывал почти пятьдесят лет. Когда зашёл... Память тут же подсказала, казалось бы, совсем забытое. Сохранились даже истёртые временем деревянные ступеньки. Вот только большинство тех, с кем он когда-то по ним поднимался, ушли из жизни. И он потом с горечью скажет уже многократно проговорённое: «Странно: почему мы так же, как и перед родителями, всякий раз чувствуем вину перед учителями? И не за то вовсе, что было в школе, нет, а за то, что случилось с нами после».

«После» все деревни по верхней Ангаре спешно переселили. Людей посрывали с мест. Их родные земли оказались на дне искусственного моря. Братская ГЭС тогда гремела на всю страну. Слёзы и боль ангарцев были заглушены грохотом турбин. А Валентин Распутин возвращался в свою новую Аталанку, перенесённую на возвышенный берег нового «моря».

Он всё хорошо помнил. Как пароход «Фридрих Энгельс» подходил к берегу буквально по лесу, раздвигая кроны деревьев. Их ведь не вырубали, так и оставив на дне. Всё делали в спешке. Даже кладбища не перенесли. О живых тоже вспомнили в самую последнюю очередь. А затоплено было больше ста обезлюдивших сёл и посёлков.

Несколько десятилетий прошло с тех пор, как надругались над красавицей Ангарой. Но разумности прошедшие годы не прибавили. В «море» – заражённая рыба. Вода смешана с вредными сбросами. Кое-где появились даже «ртутные» отмели с опасного химзавода. А на дне до сих пор продолжали стоять окаменевшие лиственницы, как кресты над исковерканными судьбами людей. По словам Распутина, «многие переселённые деревни погублены. Люди спиваются. Рожают уродов. В школе моей Аталанки таких детей уже чуть ли не третья часть».

После встречи с родной землёй Валентина Григорьевича больше не надо было уговаривать высказаться. Первое же выступление в клубе и сразу – душевное единение с пришедшими:

– Я всё время спрашиваю себя: что же так тянет сюда? Ведь никогда здесь, на Ангаре, не было лёгкой жизни. Всегда было трудно. А после перестройки она стала совсем гнетущей. То есть физически жизнь, может, раньше была и хуже, но нравственно, духовно... Такое ощущение, что украли у нас за прошедшие годы Россию.

Приезжаешь в свою Аталанку... Последний раз там был в сентябре. Грязища – непролазная. А я в ботиночках заявился. Да в них пройти там нельзя. Какой там коммунизм, как обещали раньше! Какой там капитализм с его благами, как обещают сегодня. Просто пройти по улице нельзя из конца в конец. Какое там светлое будущее! Надолбы вот такие стоят! На брюхо ляжешь, перевалишься на другую сторону и дальше пошёл. Лесовозы всё разбивают. Деревянные тротуары ломают. Неухоженность страшная. Я там поживу – и уезжаю на иркутский асфальт. Потом – на московский. Уж в столице совсем хорошо. Строят красиво сейчас. Лицо, правда, своё Москва потеряла, но зато европейский облик обрела. Тротуары

с мылом кое-где даже моют. А что ж меня всё тянет в Аталанку? Да потому что родное там. Родина потому что. И без этого как-то и не живётся мне. Но это только с возрастом начинаешь остро чувствовать.

В этот момент я поднялся, осторожно подошёл поближе к сцене и, фотографируя, стал наблюдать за лицами пришедших на встречу людей. Они смотрели на него не шелохнувшись. Так родня встречает дорогого и долгожданного человека. Если бы Распутин просто стоял и молчал, они бы и это восприняли, наверное, с радостью. Уж с такой любовью они смотрели на него... А их самый знаменитый земляк говорил с ними просто, тихо и очень проникновенно. Будто советуясь с ними: правильно ли он жил, когда был в отъезде? И они его слушали. А он, как-то даже стесняясь такого особенного к нему внимания, продолжал неспешно рассказывать:

– Я повидал мир. Поездил, может, даже с избытком. Было что посмотреть, было чему удивляться... Но только здесь ближе всего находишься к самому себе, к своей сути. И человек остаётся человеком только тогда, когда он сохраняет связи со своей землёй. Когда помнит о ней. Он может уехать куда-то, работать далеко, потому что не всегда находится дело по способностям на родной земле. Но если он о ней забывает – это гибель. Человек перерождается. Происходит его мутация. Он может состояться профессионально. Но если он порывает со своими корнями – он порывает и со своим родительством...

Запись в блокноте. *Перед поездкой в Усть-Уду отмечал командировку в Иркутской администрации, и высокопоставленный чиновник из отдела культуры предупредил меня: «Только не вздумайте с ним завести разговор об Астафьеве. Он сразу прервёт общение. Об этом уже все знают».*

И жив этот народ

Повод поговорить об отношениях двух писателей усть-удинские встречи дали почти сразу. Распутин рассказывал во многом о том, что волновало и Астафьева. Их впечатления иногда были так близки, что зачастую звучали по своей сути в одной тональности.

Уж не помню в каком посёлке он рассказал о своей зарубежной поездке: «Я дважды был в Америке. Прожил там около двух месяцев. Слава богу, насмотрелся. Совсем другой народ. Только я не хочу сказать, что мы лучше. Во многих отношениях – хуже. Но мы остаёмся больше людьми. Мы ещё умеем плакать по-настоящему и любить по-настоящему, без выгоды и расчёта. И такими нам лучше и оставаться всегда. Мы должны начать возвращаться к России».

И именно об этом также после посещения Америки говорил и Виктор Астафьев. Они оба были честны и не уподоблялись типажам советской пропаганды о «загнивающем империализме». Напрочь в них отсутствовал и квасной патриотизм. Они оставались похожими друг на друга, даже когда находились по разные стороны. Даже когда дошли до такого разлада, что делали всё, чтобы даже случайно не пересечься на каком-нибудь мероприятии.

Почитатели творчества Распутина во время одного из моих разговоров с ними категорически не согласились с вышеприведённым выводом. Они напрочь отмежёвывали своего кумира от Астафьева. Тогда я достал блокнот и зачитал цитаты, тут же попросив определить распутинское или астафьевское авторство. Их вывод был однозначным и неверным.

Валентин Распутин как человек, по сравнению с Виктором Астафьевым, никогда не был распахнутым миру. Это абсолютная правда. Почти всегда молчаливый, закрытый

в своих чувствах. Скромный в публичных проявлениях. Деликатный и великодушный. Но в нём скрывался и осмысленный омут. В нём была и потаённая бездна.

Для многих и многих оказались неожиданными цитаты из его личной переписки: «Про народ наш уж и говорить нечего. Неизвестно, что теперь и народом называть». И вот ещё: «Я подумываю, не уехать ли с родины... тяжело стало и жить, и работать... Говори о чём угодно, и лучше всего о мировых проблемах и гармониях, но не о своих маленьких делах: мы хоть и в грязи, в дерьме купаемся, но это наше родное дерьмо, и нам в нём приятно».

И дальше: «В прошлом году сделали мы глупость, переехали на другую квартиру... и не подумали о том, что кругом будут жить коммунальщики, которых в каждой квартире как сельдей в бочке. И когда я перебрался в отдельную, я стал для них буржуем, и всю злость на нынешние порядки, не разобрав, они стали вымещать на мне. А тут ещё дверь мою при ремонте кожей обтянули – это уж верх всего. И началось – то навалят перед дверью, то какую-нибудь гадость подсунут. Пакость мелкая, но неприятная, и терпением побороть её до сих пор не удаётся».

В нём всегда была какая-то удивительная пронзительная выделенность. И через его глаза можно было заглядывать в его душу.

Дважды, в Красноярске и Иркутске, когда он возвращался вечером домой, его жесточайше избивали какие-то отморозки. Каждый раз били скопом. Одного. Увечили так, что врачи опасались за зрение, а в последнем случае, когда проломили голову, беспокоились уже за его возвращение к привычной работоспособности. Подлецы таких честных и светлых не переносят.

Встречаясь с ангарцами, Распутин никогда не затрагивал на своих примерах тему людской жестокости. Оставшись наедине, я спросил его:

– Валентин Григорьевич, когда вы говорите о народе – всё время обобщаете. Когда говорите с народом – словно его жалеете. Даже своим землякам не сказали ни одного резкого слова. А ведь есть за что...

– Тут нужно отделять одно от другого. Только в советской энциклопедии легкомысленно называли народом всё население страны. А на самом деле – это российская коренная порода нации, трудящаяся, говорящая на родном языке и сохранившая свою самобытность. И жив этот народ. И его долготерпение не надо принимать за его отсутствие. В нём вся наша мудрость. И народ не хочет больше ошибаться. Бойтся порывов, чтобы не дойти до самоистребления.

Можно гневаться, что в деревнях сегодня спиваются. Что людям нечем заняться. Что они теряют себя. Есть о чём говорить... Но сам народ ругать нельзя. Это всё равно что мать. Только устал он уже от всех этих мытарств.

– Кто-то из учителей вас спросил: почему нас так не любит Москва? И вы ответили...

– Да, не любит. Хотя в отдельные периоды её поддержку мы чувствовали. Сегодня федеральная власть старается забирать слишком много. Забывая отдавать. Вот в Усть-Уде опять большая задолженность по зарплате. А Москва будто бы этого не видит. Сегодня государство волнует прежде всего собственное самоутверждение. Народ в глубинке брошен. К нему ведь никто и не обращается. Власти разговаривают сами с собой. А когда с нашим народом по-человечески – он творит такие чудеса, что другим и не снились. Только вот никак не дожждётся он, чтобы с ним по-человечески...

Запись в блокноте. Разговариваем вместе с Распутиным с главой района Владимиром Денисовым. Он сетует, что весь бюджет расходуется на выплату той самой

зарплаты, которую всё время задерживают. На развитие ничего не выделяется. Не жизнь, а выживание. Лесозаготовительные предприятия с трудом находят рабочих среди местного населения. 70–80 процентов трудоспособных – уже не работники. Водка сгубила. Работают до первой полочки – и потом в запой. Вот и получается по Распутину, – что настоящего народа в Усть-Удинском районе в лучшем случае только треть. Сам он этого не говорил. Но вывод из его рассуждений напрашивался очевидный.

Штрих к портрету

Как называлось то помещение, где нас поселили вечером, не помню. Может, это было какое-то общежитие? Но мы все должны были располагаться в одной большой комнате со множеством кроватей.

Зашёл Распутин и тут же сказал: «Я вот здесь примощусь, если не занято». По-моему, его с трудом, но всё же уговорили перебраться в более комфортные условия. Но штрих к его портрету вышел примечательным.

Увидев через окно, что он стал спускаться вниз к ангарскому берегу, хватаю фотокамеру – и бегом за ним.

Распутин стоял на пустынном мысочке. А перед ним – огромное пространство серой воды с нависающей над ним чёрной тучей. Кадр-символ. Кадр-находка. Во мне всё трепетало от восхищения. Он обернулся на моё громкое прерывистое дыхание и, увидев, что я ловлю его в видоискатель, тихо сказал: «Не надо. Давайте просто постоим и помолчим».

И мы стояли. Сбоку валялись остатки ржавого катера. С воды тянуло порывистым ветром.

Молчали.

Тот упущенный кадр я помню до сих пор. Но в памяти сохранилось и сказанное затем Распутиным:

– Когда-то именно через эти места везли на дощанике в сибирскую ссылку протопопа Аввакума, – он задумался, а потом, лишь на мгновение скрестив на груди руки, продолжил: – Если бы колесо истории повернулось к тому времени, я бы, скорее всего, оказался среди раскольников. Наверняка бы был среди этих русских бунтарей! – и пояснил: – Те люди были настоящей крепости. Это мы сейчас стали слабаками и живём будто в торгашеской лавке.

Сверху заголошно замахал руками его негласный биограф Костя Житов. Пришла машина. Едем смотреть строящуюся церковь. Распутин отдал на неё все деньги с недавно вручённой ему литературной премии. На месте выясняется, что их хватило только на фундамент.

Под начавшийся дождь Распутин стал рассказывать, что церковь будет деревянная. Красивая. С золотистыми луковками-куполами.

– И в Овсянке тоже вся из дерева построена, – как-то само собой вырвалось у меня. – Когда её освящали, Виктор Петрович сказал, что многие люди не понимают, для чего это всё нужно. И сам же пояснил: когда душа у людей порушена, то с восстановлением храма и она тоже начинает возрождаться...

Распутин молча выслушал меня. Никак не выразив своё согласие или несогласие со сказанным. Постоял. И пошёл один на кладбище, где у него был кто-то похоронен из родни.

Запись в блокноте. За книгу-альбом «Сибирь, Сибирь...» Валентин Распутин был удостоен Премии Правительства России. Так оценили мастерство его текстов. А автор фотографий, которые сопровождали очерки, Борис

Дмитриев, не получил ничего. Вот из-за этого он и начал гневно протестовать, грозя судебными исками организаторам. Распутин, не имея никакого отношения к этой скандальной ситуации, предложил ему взять половину его премии. И тот взял – полмиллиона рублей. А потом ещё и засудил тех, кто попытался его устыдить. Кстати, упомянутые премиальные, как раз и предназначались тогда Распутиним на возведение церкви в Усть-Уде. А фотографу он ещё не один месяц выплачивал свой «долг»...

Как душу держать

Однажды в Болдино я целую неделю общался с американцем Джулианом Лоуэнфельдом. По профессии он юрист. Через изучение русского языка пришёл к Пушкину. Стал переводить его произведения на английский. А красота и сердечность пушкинских строк привели его к Богу. И он принял Православие.

Какой же силой должно обладать русское слово в писательской огранке, чтобы совершать такое чудодействие!

Переводчица из Японии Харуко Ясуоко взялась переводить распутинскую повесть «Живи и помни». И уже хотела бросить всё, столкнувшись с языковыми трудностями, но её не отпускала судьба героини-праведницы Настёны. И она вновь продолжила перевод. Содержание её так захватило, что она на неделю приехала в Сибирь. А с выходом книги в Токио крестилась в Православие с именем Анастасия. Распутинское слово также привело её к удивительному преображению. Как напишет в своём дневнике Валентин Курбатов, она «знала теперь, как и за кого жить и как душу держать».

Только упомянутая повесть вовсе не радостна. Она волнующая и тягостная. Во время войны муж Настёны

Андрей Гуськов становится дезертиром. Пробравшись в Приангарье, скрывается в тайге возле родной деревни. Вскоре селяне замечают, что Настёна забрюхатела. Так обернулись для неё тайные встречи с мужем. Тот опускается в своём падении всё ниже и ниже и тянет за собой любящую его жену. Верную ему и падшую в людском восприятии. Её преданность превращается в гибельную безысходность. По собственной воле она уходит из жизни и исчезает в ангарской пучине. А с ней гибнет и её долгожданный ребёнок. А с ним для предателя Гуськова обрывается и единственная связующая духовная ниточка с будущим. Он так и не сподобился на человеческий поступок, который мог бы спасти всех. Прежде всего – его самого.

Страшная повесть. Очень значительная для литературы тех лет. Знаменательная как явление. Только где в ней социалистический реализм? Он даже рядом нигде там не прохаживался. Конечно, можно допустить, что цензоры увлеклись талантливым содержанием и просмотрели для себя важное. Такое случалось и во времена Пушкина. Но комиссия по присуждению Государственных премий СССР в 1977 году тоже оказалась как заморожённая.

В этом же ряду и астафьевское восклицание в письме Курбатову: «Валя Распутин написал что-то совершенно не поддающееся моему разуму, что-то потрясающее по мастерству, проникновению в душу человека, по языку и той огромной задаче, которую он взвалил на себя и на своих героев повести “Живи и помни”». И вот что страшно: привыкшее к упрощению, к отдельному восприятию жизни и литературы и приучившее к этому общество, неустойчивое, склизкое... оно, это общество, вместе со своими “мыслителями” не готово к такого рода литературе. Война – понятно; победили – ясно; хорошие и плохие люди были – определённо; хороших больше, чем

плохих, – неоспоримо; но вот наступила пора, и она не могла не наступить – как победили? Чего стоила нам эта победа? Что сделала она с людьми?»

Астафьев уже тогда обращает внимание на то, что иногда обстоятельства уродуют человека – и нет ему никакого снисхождения от государства. А прояви вовремя хоть чуточку к нему милосердия – и, глядишь, и не пошла бы его жизнь под откос.

А самому Распутину он пишет: «Очень ты хорошо написал повесть, Валя! Очень! Я такой образцовой, такой плотной и глубоко национальной прозы давно не читал в нашей современной литературе. Да и есть ли она?» А вот дальше проявляется его удивление уже другого рода: «Но концовка... и в самом деле скомкана, в сравнении с остальным обстоятельным текстом. Да и сам знаешь, Валя, что-то есть в ней от лукавого. Ты сам и виноват. Нигде не допустил сбою, везде был предельно точен и искренен. И вот... Ты знаешь, как запутано всё было в ту пору? Народ ехал куда попало, убежал от баб, а бабы от мужиков. Твоей Настёне с ребёнком, да и вместе с мужем затеряться было в любом леспромхозе – тьфу! – раз плюнуть. Туда брали кого попало и как попало.

Нравственное что-то, совесть, растерянность, неумение сдвинуться с места не позволили? Но Настёна вон какую изворотливость проявляла до этого! Что-то тут надо доделывать, Валя. Что-то додумывать и придумывать, чтоб конец повести (романа!) был на уровне всей остальной вещи. Один въедливый читатель написал мне, что да, повесть Распутина – это отдельно от всей литературы стоящая вещь, и долго ей жить, но всё-таки Распутин окончил трагедию там, где у Достоевского она только начиналась...»

И подобные советы Распутину звучали ещё не раз от других литераторов. Здесь надо заметить, что Виктор

Астафьев, по писательской молодости, не устоял однажды под напором пермской редакторши и оживил своего героя. А вот Распутин не поддался, выдюжил. После журнальной публикации книга вышла с тем же безнадежным окончанием. Пытаясь обелить его, некоторые критики писали, что таким образом Настёна не захотела идти против мнения народа. И даже этот «спасительный» вывод тоже тогда отдавал новизной затронутых взаимоотношений человека и народа.

Однажды судьба свела меня в прибайкальском селе с художником, у которого не раз бывал в гостях Валентин Распутин. Даже пару раз он купил у него картины. И всё было хорошо. Но потом этот художник прочитал распутинское «Живи и помни». И когда Валентин Григорьевич в следующий раз заглянул к нему, тот ему откровенно рассказал, что в начале войны тоже дезертировал. Смелодушничал. И за это отсидел десять лет. А потом ещё несколько лет отбывал сибирскую ссылку. И показал ему автопортрет из лагерного периода. Реакция Распутина, была, по его словам, негодующей, яростной. Он обозвал его предателем, бросил на стол только что купленную у него картину и больше никогда у него не появлялся. И руки при встрече не подавал.

– Я для чего ему это всё хотел рассказать... – озлобленно пояснил мне художник. – Для того, что сошёлся я тогда с женщиной. И живу с ней до сих пор. И она всё поняла. А он даже не дослушал меня...

Распутин в «Живи и помни» осуждающе написал о дезертире: «На войне человек не волен распоряжаться собой, а он распорядился». За это в повести писатель расправился с ним жесточайше, обездушив. Но и в реальной жизни этого самого художника с отголоском похожей судьбы он тоже не пожалел. Хотя, исходя из высказывания Распутина, можно было ожидать иного: «Для писателя

нет и не может быть человека конченого. Да, я уверенно говорю: мы должны судить или оправдывать. Или – или... но не забывая судить, а потом оправдывать: то есть старайся понять, постичь душу человеческую. Пока жив человек, каким бы плохим ни был он, есть надежда, что точка ещё в его судьбе не поставлена».

Бывает, что воспринятые убеждения начинают настолько тяготеть над человеком, что выдавливают из него его самого. Так кукушонок, подложенный в чужое гнездо, постепенно выбрасывает всех прежних его обитателей. И незамеченная подмена признаётся зачастую истиной даже теми, кто был порождён ею.

Известный критик Лев Аннинский по приглашению издателя Геннадия Сапронова написал предисловие к книге «Твердь и посох» (переписка Виктора Астафьева с Александром Макаровым). И в нём вдруг взял и поделился опытом опубликования своих статей в советское время: «Чтобы прошла искренняя, независимая, вольная нота, – редактору и цензору надо “выдать должное”... Спасительные фигуры известны. То глазки отведёшь на коммунистический “призрак”, то плечико полуобнажишь: в случае чего, мол, подставлю.

Значит ли это, что тут ложь во спасение? Вовсе нет! Я действительно изначально верю в коммунизм, я в случае чего действительно готов подставить плечо, если стране будет туго. То есть я не кривлю душой. Но я вовсе не хочу на каждом шагу перед каждым охламоном выставлять свои убеждения, мне их выставлять – унижительно, и я, конечно, обошёл бы без ритуальных поклонов, если бы не редакторский прессинг, знакомый каждому, кто печатался при советской власти».

Строки из предисловия, приведённые выше, были написаны и опубликованы в 2005 году. Они предваряли

издание, которое являлось расширенным вариантом переписки из книги Виктора Астафьева «Зрячий посох». Вот только как раз её сам Астафьев, не «строая глазки», не мог опубликовать целое советское десятилетие. Издатели решились на это только через три года после объявления перестройки. Это к теме о необходимости ритуальных поклонов. Виктор Астафьев, преодолев период журналистского греха, больше в литературе уже никому не кланялся.

В советское время часто звучала песня со словами: «Раньше думай о Родине, а потом о себе». Под Родиной подразумевалось государство. В первом опубликованном рассказе Валентина Распутина «Я забыл спросить у Лёшки...», не говоря уже о его газетных публикациях, всю выпирает ничем не прикрытая партийная идеология. Она, как густой соус у плохонького кулинара, всегда шла в ход, чтобы скрыть недостатки основного блюда.

В рассказе описывается, как во время валки леса молоденького Лёшку зацепило падающей лесиной. Два друга бросились сопровождать его в больницу, до которой ходу было тридцать километров. Единственный трактор бригадир им не дал, потому что нельзя прерывать работу, план нужно выполнять.

В начале их продвижения всё было терпимо. Они даже говорили про строительство коммунизма и веру в него. А дальше парню захужело. И они уже его тащили на плащ-палатке. Но им всё равно не давал покоя вопрос: «Куда люди станут вписывать имена лучших строителей коммунизма?».

А потом покалеченный парень затих. И дальше они уже несли его мёртвого.

Небольшой рассказ от первого лица заканчивается так: «Я неожиданно вспомнил о том, что ещё забыл спросить Лёшку, будут ли знать при коммунизме о тех, чьи имена не вписаны на зданиях заводов и электростанций,

кто так навсегда и остался незаметным. Мне во что бы то ни стало захотелось узнать, вспомнят ли при коммунизме о Лёшке, который жил на свете немногим больше семнадцати лет и строил его всего два с половиной месяца».

Неужели Валентин Распутин был тогда таким верующим в государственную утопию? Конечно, было бы ещё хуже, если бы автор написал этот рассказ на полном безверии...

Спустя лет тридцать популярная всесоюзная газета устроила обсуждение значимости одного трагического подвига. В каком-то селе парень бросился спасти загоревшийся трактор и сгорел вместе с ним. В нормальном обществе всё должно было быть ясно без обсуждений: человеческая жизнь превышает ценности любой железяки, но в советском устроили из этого обширную долговременную дискуссию. Песня «Раньше думай...» давно уже звучала не только по радио, но и в душах многих людей.

... Возвращаемся с Валентином Распутиным в Усть-Уду из какого-то посёлка, и он рассказывает мне, что, когда строилась Усть-Илимская ГЭС, среди рабочих по очистке будущего дна нового водохранилища оказался его дядя Лёня. И он с ним поехал смотреть, как происходит это действие. Ему это нужно было для тогдашней работы над повестью «Прощание с Матёрой», где тоже про затопление и про губителей исконной ангарской жизни. И дальше Распутин заговорил обо всём с какой-то залихватской азартностью.

В отдалённом затапливаемом селе он увидел целую улицу нетронутых домов. С расписными ставнями. С массивными охлупнями на крышах. С воротами при кованых жиковинах. С русскими печками. И всё это при полнейшем безлюдии. По улицам ходили только брошенные собаки, кошки и... поджигатели. Как раз они-то и очищали деревню огнём.

Дальше Распутин поведал словно о какой-то бесовщине с его участием. Рассказал, как они сидели в пылающем добротном доме, подожжённом с дальней стороны, и пили в нём самогон с родственником. Тот уже знал с точностью до минуты, сколько и что горит. И в такой смелости был его своеобразный кураж. Испытал его вместе со страхом и Распутин. Дверь они прикрывали, когда дом уже весь дрожал от гудящего пламени и по стёклам окон струилась расплавленная горящая смола.

Всё это спустя несколько лет Валентин Распутин повторит, но уже в кратком изложении в документальном фильме «Река жизни». То бесовство ему явно не давало покоя.

Когда мы с ним тогда говорили, мной уже было прочитано его «Прощание с Матёрой». И я тоже видел, как жгли дома на дне будущего Богучанского «моря». И видел слёзы тех, кто лишался родины. И это было страдальческое бедствие. А рассказанное Распутиным представало как бы безучастным видением с другой стороны. Не с той, с которой видела всё это Дарья в его повести. Вот только нужной смелости спросить, как уживалось в нём одно с другим, тогда у меня ещё не было.

Некоторое прояснение такой странности пришло позднее. Издатель Геннадий Сапронов организовал путешествие по воде Валентина Распутина с киношниками, как очередное прощание с исчезающей Ангарой, в связи со строительством здесь новой, уже четвёртой гидростанции.

Вместе с ними плыл и Валентин Курбатов. Именно он и не соглашался во многом с позицией директора Братской ГЭС Виктора Рудых, который, стоя возле плотины, утверждал, что блага цивилизации, получаемые благодаря вырабатываемой электроэнергии, важнее, чем потеря «какой-то Кежмы». А то, что переселённые из зоны затопления более шести десятилетий назад жители той

же Аталанки так до сих пори живут, не подключённые к электроэнергии ГЭС, – это не его проблема. И совестью он от этого не мучился. Кстати, он был как раз потомком той родни, деревню которой сожгли и затопили.

Мне казалось, сейчас не выдержит и решительно вклинится в этот разговор Распутин. И замолчит устыжённый директор гидростанции. Распутин вклинился и урезонил... Курбатова: «Валентин, если бы в этом мире Россия была одна, тогда бы можно было всё это миновать. Но когда пошла такая гонка... Что же тут было делать? Приходится соглашаться со всем». Это в Распутине так заговорил государственник.

И ещё он тут же пояснил про нуждающихся в защите людей: «Народ он – когда служит государству. И служит России. А сейчас неизвестно кому он служит. Мы разрознены...»

Вот и обнажилась принципиальная дилемма. Государство для Человека? Или Человек для Государства?

Можно предположить, что если бы присутствовал при вышеозначенном разговоре Астафьев, то здесь бы вовсю грохотали и сверкали громы и молнии. Он бы наверняка не позволил, чтобы с такой барственной уверенностью звучал начальственный цинизм.

В этом и заключается кардинальное позиционное расхождение Астафьева и Распутина. В их публицистике, особенно в последние годы, это проявлялось явственно и многократно. Правда, до этого никогда не звучало с таким откровением распутинское утверждение о фактически отстранившемся народе...

Запись в блокноте. В Усть-Уде по местной инициативе открыли выставку в честь прошедшего юбилея Распутина. Посмотреть свеженькие экспозиции зазвали Валентина Григорьевича. Чувства у него смешались. Он как

бы увидел сторонний взгляд на самого себя. «А это за-чем?! – удивлялся он, увидев в уголке советскую атрибутику с трудами Сталина. – Державник я всё-таки в другом понимании». А когда его объявили «ангарским Ломоносовым», он смеялся так, как никогда больше за всю поездку: «Господь с вами! Ну какой я?.. Это что вы такое учудили...» А потом, уже наедине, Распутин скажет мне: «Хорошо, если это искренне. Но со временем, думаю, всё сойдёт и забудется».

Как враги

Когда в 1973 году выйдут распутинские «Уроки французского», Виктор Астафьев поделится своим впечатлением с литературоведом Николаем Яновским: «Валя Распутин лучше и лучше пишет – что мне теперь, вешаться, что ли? Наоборот, радостно, что идёт парень плечом подпереть одряхлевший лит. дом и завшивевшую лит. шубу вытрясает».

А когда поплывёт с рыбаками по Ангаре, то, поднимаясь против течения и вглядываясь в её ширь, Астафьев сообщит в письме жене: «Я впервые и с удивлением обнаружил, как точно пишет об Ангаре Валя Распутин, нет, нет, не пейзаж, не внешние приметы, хотя и это он делать мастер, а как бы душу самую этой вкрадчивой и бурной реки. Мне даже показалось сейчас, что и сам Валя чем-то неуловимо, глубинно, колдовски-скрыто похож на свою родную реку, хотя и не подозревает об этом».

Валентин Распутин тоже характеризовал творчество своего старшего друга в возвышенной степени: «Талант астафьевской мощи и страсти – явление редкое, в нынешней литературе по точности, красоте и эпическому полнозвучию народного языка он не имеет себе равных.

Не слишком ли? Нет не слишком. Многие сотни писем, которые получает писатель после каждой своей новой книги, лучше всего свидетельствует, что сейчас, как никогда прежде, люди расположены к правде, какой бы неприятной она ни была».

Журналист Николай Савельев несколько раз рыбачил с Виктором Астафьевым на отдалённых притоках Енисея. Об одной из таких поездок на речку Сым он вспоминал: «Там, в таёжном зимовье, говорили о многом. Запомнилось, что Виктор Петрович всегда ставил Валентина Григорьевича Распутина наособицу, но на божницу не возводил. Вот его слова: “Пушкину было дано пронзить своё время, а мне нет. И Вале тоже”». Это был честный взгляд на их место в русской литературе.

Очень быстро Распутин становится для Астафьева настолько близким по духу и родным человеком, что общение выходит за литературные границы. Старший помогает младшему деньгами. Они знакомятся семьями. Отдыхают вместе на курорте в Болгарии. А когда в 1986 году, на съезде писателей СССР, грузинская делегация, оскорблённая содержанием астафьевского рассказа «Ловля пескарей в Грузии», бросится осуждать автора, на его защиту, выйдя на трибуну, первым встанет Валентин Распутин.

Если бы не проявившаяся слабость советской власти, они бы, наверное, никогда бы не разошлись. Демократические подвижки породили активность разных политических сил, которым тоже захотелось властвовать. Началось разделение на сторонников и противников. Предлагались разные пути обустройства новой России. И Валентин Распутин с Виктором Астафьевым оказались на противоположных сторонах. И не только во взглядах на будущее. Они кардинально расходились в оценках многих моментов истории страны, например роли Сталина

или компартии. После резких публичных высказываний о происходящем их переписка прекратилась. Навсегда.

Валентин Курбатов пытался отвратить Распутина от политики и вернуть его к литературе. Об этом он сообщает в 1992 году в письме Виктору Астафьеву: «... Виделся в Москве с Валентином Григорьевичем. Гнул своё, понуждая его выйти из ложно использующих его организаций. Он обещал, но ещё сто раз передумает, связанный ложным чувством общего дела. Воли не хватает на разрыв, хотя когда они его связывали, они как раз сомневались мало и сейчас будут держать изо всех сил, зная, что лучшего знамени у них не будет, и уйдёт он – они окажутся только бойкими говорунами и искателями власти. Он и это знает. И всё-таки не уходит... Чувствует себя тяжело. Спрашиваю: «Что же вообще-то делаешь? Ну, если не пишешь, то хоть думаешь о чём?» – «Ни о чём не думаю. Коротая жизнь». И так тяжело сказал, что я заткнулся и больше не лез».

В 1993 году внутреннее властное российское противостояние неожиданно перешло в вооружённое столкновение. Танки Президента расстреляли Белый дом с парламентариями. Сделали свои озлобленные словесные выстрелы в друг друга и прежние друзья-писатели. Виктор Астафьев, хотя и не подписывал «Письмо сорока двух», но всё же согласился с направленностью его содержания. А направлено оно было против тех, кто был тогда повержен, но не уничтожен. На стороне последних продолжал стойко находиться Валентин Распутин.

О чудовищности риторики «победителей» свидетельствует отрывок из их письма-обращения: «Хватит говорить... Пора научиться действовать. Эти тупые негодяи уважают только силу. Так не пора ли её продемонстрировать нашей юной, но уже, как мы вновь с радостным удивлением убедились, достаточно окрепшей демократии?»

Это был не документ, а клич к погромному набегу власти – шашки наголо и вперёд большевистскими методами: запретить, закрыть, распустить, отстранить, посадить... В ход пошло даже требование прекратить законно избранные органы власти.

Среди подписавших были явные радикалы, всюю кричавшие: «Раздавить гадину!» Но под обращением стояли и фамилии таких уважаемых гуманистов, как Алесь Адамович, Василь Быков, Даниил Гранин, Дмитрий Лихачёв... С ними со всеми был хорошо знаком Виктор Астафьев. И все они не понаслышке знали, как делали раньше «врагов народа» и потом расправлялись с ними. Но именно эти люди и призывали власть пойти тем же страшным путём уничтожения несогласных. Примечательно, что за два года до этого пытавшиеся совершить госпереворот путчисты, а среди их руководителей были те, с кем близко общался Валентин Распутин, тоже предпринимали подобные действия.

Оказавшись по разные стороны, противники мало чем отличались друг от друга в проявлениях ненависти. Виктор Астафьев много раз объяснял это нашей неготовностью к свободе. Но в тот момент он мог быть сам обвинён в этом. Однако неправость ему тогда виделась только в другом и в других. Астафьев пишет письмо редактору главной газеты коммунистов: «Доброжелатели» прислали мне “Правду”... с разглагольствованиями защитника народа В. Г. Распутина, и я увидел воочию, что эту газету, как чёрного кобеля, не отмоешь добела – была “Правда” кривдой, кривдой и осталась.

Сообщаю вам, ... что всё, что принял Распутин, всё, на что по дешёвке купился, предлагалось и мне – место в Верховном Совете, место советника, место фрейлины в свите Горбачёва и, естественно, воздаяния за это харчем, вельможными привилегиями, хоромами. Но я хотел

работать, исполнять своё дело, Богом определённые обязанности и ото всех почестей и подачек отказался – вежливо. И так вежливо, что не утратил уважения к себе, Михаил Сергеевич, насколько мне известно, не утратил уважения ко мне».

Валентин Курбатов в этот момент оказывается на меже. Пишет Астафьеву: «... Мне тяжело видеть происходящее с нами со всеми, стыдно видеть родную литературу, в которой вчера родные люди собачатся, как враги, вместо того чтобы увидаться друг с другом и поговорить без посредничества подлых газет и телевидения. Это, конечно, не может длиться долго. Обморок кончится, и нам будет стыдно глядеть в глаза друг другу. И чтобы это кончилось поскорее, я готов стоять посередине, как и сотни других таких же дураков, и получать обвинения той и другой стороны».

Никто не подозревал, что творилось в то переломное время в душе Распутина... Вернее, был один человек, кто знал. Втайне от мужа переписку «с Валея» продолжала вести Марья Семёновна. Вот строки из её письма, никогда ранее не публиковавшиеся:

«Я, в последнее время особенно, опять часто и с горькой тревогой думаю о тебе. И ты можешь сказать, мол, думай, если больше не о чем. Но нет же, просто потому, что давно, сколько я тебя знаю, по-родственному привязалась к тебе и всё-все связанное с твоей жизнью и творчеством меня радует и тревожит, волнует и я безмерно дорожу и дорожила всегда каждой с тобою встречей, где и какой краткой она бы ни была. Если помнишь, даже страничку черновика просила, правда, так и не допросилась, ну да ничего.

И когда мне бывает очень необходимо поговорить о самом сокровенном или просто выговориться, я обращаюсь к тебе и всякий раз благодарю тебя, что ты меня

слышал, читал сумбурные и длинные мои письма до конца, а иногда и отзывался.

Не скрою, в последнее время мне не раз и не два не терпелось дать тебе телеграмму, особенно когда твои, но «не твои» публикации читая то в «Правде», то ещё где, хотела напомнить тебе, что у политиков не бывает друзей, а без них так трудно жить; сказать – напомнить, что лжесвидетельство – непростительный грех, или когда ты поехал со свитой генсека в Японию... “Валечка! Зачем тебе всё это?”»

Письмо, строки из которого приведены ниже, уже после смерти Виктора Астафьева было передано Марией Семёновной не в архивы, а на хранение «лично» хорошо знакомому ей редактору Агнессе Гремичкой. Вот что ей тогда написал Распутин:

«... Как бы хотелось мне в ответ на тревогу и сострадательность Вашего письма успокоить: да-да, Вы правы, надо всё бросать к чертям собачьим, всю эту суету и канитель, от которой всё равно никакого толку, и возвращаться к столу, к «произведениям», кои никто, кроме меня, не «создаст»...

С этой стороной моего положения более или менее ясно. Брошу. Но к столу, Марья Семёновна, уже не сяду. Присаживаться буду, да, не вытерплю, чтобы не присаживаться совсем, но «произведений», как говорят, достойных нашего времени и достойных автора, уже не будет. Не примите только, пожалуйста, мои слова за уничижение, которое паче гордости, и говорю их только Вам, да и то в ответ на упрёки. Я никогда всерьёз к себе как писателю не относился, потому что знал, с какими потугами достаётся мне каждая строка, и возню вокруг меня, прежние похвалы и чины принимал сначала даже с испугом. Потом он прошёл, но чувство, что меня принимают за другого, чем я есть, и что я, сам того не желая, умею

каким-то образом втереть глаза, оставалось. То, что я написал, прилично, наверное, даже более чем прилично (я имею в виду не статьи), но и только. Я был способен только на это. Что ж делать, есть писатели короткого дыхания, есть среднего (не буду ни на кого указывать из наших общих близких знакомых, но Вы их знаете), и есть среди них упрямы, которые держатся через силу, уже и не дышат, а судорожно хватают воздух, но не сходят с дистанции. Лучше уж сойти, ничего постыдного в этом, я думаю, нет, и потихоньку заниматься каким-нибудь сподручным безвредным делом. Надеюсь и я оставаться безвредным.

Объяснять свои шаги трудно, всякое объяснение, как только принимаешься за него, кажется оправданием. Больше всего возмущение и недоумение среди моих друзей вызвало моё участие в Презид. Совете. Не стану скрывать, что мне польстило предложение Горбачёва, я не из тех, кто умеет заглядывать далеко вперёд и предвидеть последствия. Но творческие последствия предусмотреть было нетрудно. Я согласился не потому, что прельстился возможностью быть на виду. Быть на виду для меня мука смертная, кто знает меня получше, тот знает и это. Я согласился по глупости – в надежде, что так иногда будет удаваться замолвить словечко хоть за малую часть из того, на что государство всегда плевало. Дурак дураком и никакой не политик, я всё же имел случай наблюдать, как делается политика и кто варит эту кашу. И, будь у меня поменьше порядочности, мог бы написать об этом, но мне не может, к сожалению, пригодиться и этот опыт, так что моя жертва, можно сказать, была напрасной. Едва ли нужно жалеть об этом. Как не жалею я о многих прежних глупостях, о том, что пил водку, месяцы и годы отдавал пустякам. Жалею, что оказался под конец жизни

малообразован и малосилен, но и это уже не поправить, так что приходится и с этим в себе мириться».

Валентин Распутин, почти полностью отойдя от литературной деятельности, поучаствовал за два последующих десятилетия в огромном множестве различных общественно-политических мероприятиях. Одних только обращений и заявлений к народу страны подписал около десятка. И при этом он соглашался с высказыванием известного филолога Владимира Лакшина о том, что «искусство в точном смысле слова гибнет и вянет, когда политика прижимает его к груди».

Виктор Астафьев очень быстро отмежевался ото всех писательских союзов и общественных объединений, стал держаться обособленно. Его главным занятием стало писательство. И в 1997 году он публично призвал вернуться к нему своего бывшего друга Валентина Распутина: «Мы, его старые почитатели, ... и читатели его, ждём не речей, не махания руками, не патриотических подвигов, а повестей, рассказов, ибо только то, что сделано, написано на бумаге, – и есть истинный труд, в котором, кстати, и патриотизм, и все прочие чувства любви к своей Родине и её истерзанному народу он умел куда как славно изображать. А всё остальное «суета суёт», как говорил покойный мой приятель, незабвенный Анатолий Дмитриевич Папанов».

Запись в блокноте. В честь приезда Валентина Распутина в Усть-Уду в детском приюте приготовили кедровые саженцы для закладки аллеи. Перед самым началом действия одна из организаторов, всё внимательно осмотрев, выбросила из мешка «бракованный» кедрик. Распутин этого не видел. А когда подошёл, бережно подобрал с земли росточек со сломанной вершинкой и пошёл его сажать вместе с сиротской ребятнёй.

Как чудо

Почти сразу после того, как был опубликован мой большой очерк о Распутине в общероссийском издании, встретился на каком-то мероприятии с толковым замминистра Иркутской областной администрации Сергеем Ступиным. Увидев меня, тот всплеснул руками: «Вы зачем так написали?! Он же в ярость, наверное, пришёл, когда всё это прочитал!»

Как же зачастую придуманное нами представление о человеке расходится с тем, что есть на самом деле. Знаю об этом, потому что до опубликования материала о Распутине отправлял его ему на сверку. И тем самым проверял своё сложившееся представление о нём после личного общения. И он почти всё принял без возражений, за исключением двух фактологических неточностей. Принял и вот эти нижеследующие абзацы, показавшиеся некоторым его сторонникам чуть ли не крамольными:

«По тому, как уничтожалась народная самобытность, Распутин не видел большой разницы между Октябрьской революцией и перестройкой. Совершенно понятно, почему от него отмежевались скороспелые «демократы». Для него это была «не власть, а напасть». Но почему его в своё время не предали анафеме коммунисты – неясно абсолютно.

Распутин ещё в «застойные годы» стал своеобразным ангарским диссидентом. То, что он написал тогда, в зрелый период, находилось по другую сторону от «советской литературы».

А в 1980 году он, найдя действующую церковь, принял обряд крещения, что по тем временам расценивалось верховной идеологией как «духовное закабаление человека и его опускание до уровня ничтожества перед богом».

Распутин мог поставить свою подпись рядом с росчерками депутатов-коммунистов под обращением против «реформ смерти». И тут же как бы забирал швартовый с политического причала, напоминая, что народ «слишком много сил и жертв отдал в XX веке порядку, оказавшемуся нежизнеспособным по той причине, что он не мог считать Россию своей духовной родиной. Была власть, и сильная, было огромное социальное облегчение, но отвержение души и Бога сделало народ сиротой».

Свой среди чужих. Чужой среди своих.

Это Солженицын, как бы уточняя местоположение Валентина Распутина, назовёт его «нравственником». Но ни голос первого, ни второго – народ уже практически тогда не слышал. Или не хотел слышать?»

Повторюсь, Распутин без возражений принял вышенаписанное. А у многих о нём было тогда совершенно другое мировоззренческое представление.

Тогда же его спросил:

– Вы заметили, что во время встреч земляки вам не задали ни одного «политического» вопроса?

– Заметил! И вот это как раз и внушает надежду, что мы меняемся. Не так быстро, как хотелось бы, но меняемся. Вся эта политизация нашей жизни... Дурная политизация исковеркала жизнь не только «больших», но и «маленьких» людей. Совсем недавно на этой политике все были помешаны.

– Мне ваши земляки рассказали, что пять лет назад принимали вас в Усть-Уде намного-намного сдержаннее. А сейчас – с таким уважением и доверительностью, что позавидуешь...

– Появилось другое отношение. Тут, может, сказывается то, что в девяностые годы меня ведь немало кляли. И такие статьи до земляков наверняка доходили. И на

меня смотрели не то чтобы с сожалением, а даже и с состраданием. Особенно не вникая, прав я или нет. Наблюдали, давят меня или не давят. А сейчас меня начинают признавать заново. И это – как чудо.

Примечательно, что не только Виктор Астафьев, но и Валентин Распутин тоже не раз кардинально разочаровывался в людских проявлениях.

Валентин Курбатов, заехав в 1994 году в Москву, пишет Астафьеву о неожиданных переменах в восприятии своего иркутского тёзки: «Навестил я и приехавшего в тот же день Распутина. Он сказал только, что последние месяцы в Сибири убедили его в правоте Вашего взгляда на народ – ничего уже из этого теста не испечёшь. Оттого он попробовал было ещё рассказ написать в пару к своему слабому недавнему сочинению «Сеня едет», но написал – да сам в ведро и бросил, потому что понял, что никуда Сеня не едет и обманывать себя на его счёт нечего».

В его последней завершённой повести «Дочь Ивана, мать Ивана», женщина берётся за оружие и убивает насильника. Так она вместо бездеятельного государства сама восстанавливает справедливость. Есть там и высказывание о народе, вложенное в уста одного из персонажей: «Да ведь мы все, если разобраться, струсили... Стерпели, как последние холопы. Мы вместо того, чтобы поганой метлой их, рты разинули, уши развесили... Как-то всенародно струсили... Если кто и пикнул – не дальше собственного носа... В водочке захлебнулись? И это есть: может, на треть захлебнулись. А остальные где? Где остальные?»

Беседуя со мной, он скажет: «Единственно за своих аталанских «радовался», когда не стало электричества, что они не могли смотреть телевизор. Из него особенно – столько грязи было вылито на свой народ, чего не делало

ни одно другое государство. Так развращать, так испоганивать всё светлое... Как собирать теперь сердца и души?

Вернуться к настоящему сейчас – наитруднейшее дело. Может, настолько трудное, что если и можно его с чем-то сравнить, так только с тем, что нам пришлось преодолеть в Великой Отечественной войне. И, может, легче было победить фашистов, чем врага, который внутри нас самих».

– Валентин Григорьевич, почему же писатели оказались сейчас в общественной тени, ведь два предыдущих века они были в России властителями дум?

– Прежде чем попасть в тень, сначала многие из них вовсю разваливали Союз... Участвовали в деле, которое не может быть писательским. Поэтому и оказались затем в небрежении. Во многом мы сами виноваты... Наверное, слишком часто говорили о необходимых вещах... До затвердения... Всё пошло насмарку... И эта боль... Вот эта оглушённость – она сказалась на многих. За короткий исторический миг число читателей сократилось чуть ли не в тысячу раз. Не считать же, право, за читателей – глотателей душещипательных пустот, от которых сегодня пухнет книжный бизнес. Это наркотические таблетки в книжной обёртке... И их любителей нужно относить к наркоманам, а не к читателям. В храме всё же другой язык, чем на улице. До этого в нашей словесности Смердяковы могли быть литературными героями, но не могли быть авторами... Мне кажется, что сегодняшнее вызывающее бесстыдство литературы пройдёт, как только читатель потребует к себе уважения.

Запись в блокноте. В Юголоке на сцену вышла бабушка Екатерина Петровна Пушмина. Вежливо поздоровалась с «товарыщами». Сложив на груди руки, молча поклонилась сидящему в первом ряду Распутину. И начала с волнением «сказывать», как однажды загоревала о погубленной

ангарской красоте. А подруга возьми и спроси: «А ты Распутина знаешь? Наш парень, обо всём этом пишет». И стала бабушка Катя в семьдесят лет учиться сама грамоте. Да не с букваря начала, а с распутинской книги «Живи и помни». Несколько месяцев её одолевала. «Не напрасно сердце билось – прочитала!» Сказала это. Поклонилась народу. И зашагала в радости на своё место.

Связующее звено

На третий усть-удинский день у Распутина появилась приятная усталость. Словно душа родиной открылась. За автографами – очередь. Земляки приходят с его книжками, изданными в разные годы, и терпеливо выстаивают каждый раз по тридцать – сорок минут. Потом начинается фотографирование на память. Проходит ещё день-другой – и «транжирство времени», как назвал это процесс Распутин, наконец завершено. Возвращаемся в Иркутск. Сквозь жару, рыжую пыль и метель из бабочек. Моё место рядом с ним в автобусе никто не занимает.

– Валентин Григорьевич, три дня вы пребывали в окружении огромного количества людей, а бывает, что просто не с кем поговорить? Словно один в целом мире?

– Последние годы – так оно и есть. Близких людей становится всё меньше и меньше. Старость, она ведь не делает человека красивее. В любом отношении – ни внешне, ни внутренне. Старость, она многое огрубляет в человеке. Выстужает его. У меня сейчас очень небольшой круг людей, с кем можно говорить о чём угодно.

– Часто вы подходите дома к своим колокольчикам? Как-то вы проговорились, что общаетесь с ними, если довольны собой.

– Не часто. Но иногда подхожу. Посмотрю на них. Полюбуюсь. Поглажу их, чтобы откликнулись перезвоном. Поправлю своё настроение... Это как детская забава. Правда, я их только в зрелые годы стал собирать. Люблю смотреть на них, прежде чем начинаю работу.

– Сейчас что-то пишете?

– Только что вышел мой новый рассказ. Работаю над большой вещью, но идёт с трудом.

– Удивительно, но сегодня, по крайней мере в Приангарье, вас начали читать даже те, кто до этого не был вашим почитателем...

– Читают, потому что я их земляк. А может быть, кто-то проверяет, исписался я или ещё нет. У меня ведь тоже существует своеобразная ревность к своим друзьям-писателям. Читаю их новые книги, хотя сейчас и значительно меньше. Но есть люди, написанное которыми я никогда не пропущу.

– Астафьев был в их числе? Хотя осведомлённые иркутяне посоветовали мне вообще не касаться этой темы в разговоре с вами...

И в этот момент Распутин резко поворачивается ко мне и негодуя говорит:

– Да кто же это вам сказал, что у меня было плохое отношение к Астафьеву? Я его всегда высоко ценил как писателя. А все эти политические дразги... Никому они не нужны. Со временем о них никто даже и не вспомнит.

– Виктор Петрович ждал, что вы приедете...

– Да... Я готов был приехать. Но не на те «собрания» (имеются в виду «Литературные встречи» в Овсянке – О. Н.), где было слишком много для меня чужого народа... Я к нему был готов приехать... И теперь уже...

И мы долго-долго молчим. Автобус ревет на подъёме. С трудом, из последних сил поднимаясь на возвышенность. В конце концов мы встанем. Из-под капота пойдёт

пар. Водитель скажет: «Ремень полетел!» Понимание, что исчезло связующее звено, возникло не в движении, а только тогда, когда остановились.

А остановились мы прямо на перевале.

Запись в блокноте. Последовавший приезд Валентина Распутина в Красноярск был тихим. Он сообщил о нём Марье Семёновне и напрямик отправился в Овсянку. Чуть позднее он скажет: «Я не был у Виктора Петровича все девяностые годы и не попрощался с ним. Это произошло в силу разных причин, о которых, может быть, и не стоит говорить. А сейчас я почувствовал просто потребность, невозможность дальше жить с этим, не побывав на могиле. Собрался и поехал. И почувствовал облегчение. Такое же облегчение бывает после исповеди и причастия, когда всё тяжёлое, горькое уходит и чувствуешь себя легко-легко...

Могучий он был человек – и духа могучего, и таланта!»